

ПО СТРАНИЦАМ РАННИХ ПОЭТИЧЕСКИХ ТЕТРАДЕЙ БУНИНА

Статья Т. Г. Динесман*

Однажды в разговоре с Чеховым Бунин пожаловался: «До слез стыдно, как слабо, плохо начал я писать!» И услышал в ответ: «Это же чудесно — плохо начать!» — Чудесно, потому что такое начало — залог таланта, потому что настоящий талант не раскрывается сразу — он неизбежно «мучится, ища проявления себя»¹.

Эта мысль Чехова в полной мере относится к Бунину. Процесс «проявления» его таланта был трудным и длительным — он продолжался почти полтора десятилетия. Эти годы, отделяющие автора «Листопада» от пятнадцатилетнего мальчика, в беспомощных виршах изливающего «поэзию души», которой щедро наделила его природа, имели свои вехи, свои ступени восхождения. И, быть может, самой значительной из них была первая ступень — то самое «начало», на слабость которого он так горько сетовал.

Несмотря на беспощадно критическое отношение ко всему, написанному им в ту пору, Бунин никогда не забывал, что вся его дальнейшая судьба художника озарена отблеском этих начальных лет. Как первая фраза только что начатого рассказа имела для него «решающее значение», определяя будущее «звучание всего произведения в целом» (9, 375), так и первые страницы, вписанные в историю творческой жизни Бунина, в значительной мере определили ее «звучание» на все последующие десятилетия. С возрастом ощущение значимости пережитого в юные годы все возрастало: хорошо известно, что «Жизнь Арсеньева» — история пробуждения поэтического сознания будущего художника — подсказана собственным опытом писателя. Поэтому нельзя пройти мимо свидетельств подобного пробуждения, совершившегося в сознании самого Бунина на заре его творческой жизни. При всем их художественном несовершенстве, первые отклики начинающего поэта на первые впечатления бытия отражают тот самый процесс «воспитания чувств», в результате которого рождается личность человека и художника, — этому процессу впоследствии Бунин посвятил роман «Жизнь Арсеньева».

Около двухсот стихотворений, сохранившихся со времен бунинского «начала», дают обширный материал для наблюдений в этой области². Однако рамки настоящей статьи не позволяют охватить его во всей полноте. Остановимся на одной линии, проходящей через всю лирику Бунина в первое пятилетие его творческой жизни, а именно — проследим, как преломляется в сознании будущего художника опыт предшествующей русской поэзии.

По свидетельству самого Бунина, в гимназические годы он стихов почти не писал (9, 258). Все, что сохранилось от поэтических опытов той поры, — два стихотворения, в которых мальчик, оторванный от семьи, изливал свою тоску по родному дому³. «Зато необыкновенно много исписал я бумаги и прочел за те четыре года, что прожил после гимназии в елецкой деревне Озерках», — вспоминает Бунин (9, 259). Все, что выходило в те годы из-под его пера, тщательно переписывалось в сшитые собственными руками тетради; заглавия их («Опыты», «Сочинения стихотворные») заимствованы с обложек тех «чудеснейших томиков» со стихами «поэтов державинских и пушкинских времен», за чтением которых Бунин провел первую зиму после возвращения из гимназии (6, 101; ср. также 9, 259)⁴.

* В основу статьи положен доклад, сделанный автором на бунинской научной конференции в Орле, 20 октября 1970 г.

Это наивное подражание — отголосок того, что было пережито им под воздействием поэзии русского романтизма. «Жизнь сердцем и искреннее проявление нежных чувств», как характеризовал Бунин в 1888 г. отличительные особенности романтизма (9, 488), в высшей степени влекли его в то время:

Позабыв про горе и страданье,
Верю я, что, кроме суеты,
На земле есть мир очарованья,—
Чудный мир любви и красоты! —

писал он тогда же, перефразируя собственный перевод стихотворения Шиллера «Начало нового века» (№ 62; ср. настоящ. том, кн. 1, стр. 207).

Эти строки очень характерны для первых поэтических опытов Бунина. В них выразился тот «повышенный душевный строй, который возник за чтением поэтов, непрестанно говоривших о высоком назначении поэта, о том, что „поэзия есть бог в святых мечтах земли“, что „искусство есть ступень к лучшему миру“» (6, 117). Попытка выразить это поэтическое сгедо романтизма принадлежит к числу самых ранних стихотворных опытов Бунина:

Ты должен силою созвучий
И песней страстною, могучей
Святое вновь все воскрешать,
Святые чувства пробуждать!

(№ 16)

Впоследствии Бунин найдет точные слова для выражения тех чувств и мыслей, которые пробудила в нем поэзия романтизма, ее «чистая, стройная красота, благородство, высокий строй»: «С этими томиками,— скажет он, сливаясь со своим героем,— я пережил все свои первые юношеские мечты, первую полную жажду писать самому, первые попытки утолить ее» (6, 101). Открывшийся ему «неотразимо-чудесный» мир словесного творчества определил решение: стать «„вторым Пушкиным или Лермонтовым“, Жуковским, Баратынским, свою кровную принадлежность к которым» Бунин, как и его герой, «ощутил, кажется, с тех самых пор, как только узнал о них...» (6, 95).

Естественно, что первые поэтические опыты Бунина носят отпечаток образов, пробудивших в нем сознательное стремление к творчеству,— он пытается усвоить не только язык, стиль и жанры поэзии пушкинской эпохи, но прежде всего самый строй чувств, которым она была вызвана к жизни. С особой очевидностью это ученичество проявляется в любовной лирике той поры — в стихах, обращенных к героиням первых полудетских увлечений Бунина. При том, что адресаты этих стихов меняются неоднократно, характер переживаний лирического героя и способы их выражения сохраняют полное единообразие, ибо здесь Бунин ни разу не выходит из круга определенных поэтических норм, выработанных предшествующей эпохой. Вот почему в «Жизни Арсеньева» чувства, вызванные этими многократными, наполовину выдуманными увлечениями, синтезированы в рассказах об одной любви героя: «Мои чувства к Лизе Бибиковой были в зависимости не только от моего ребячества, но и от моей любви к нашему быту, с которым так тесно связана была когда-то вся русская поэзия. Я влюблен был в Лизу на поэтический старинный лад...» (6, 128).

На тот же «поэтический старинный лад» стремился чувствовать и выражать свои чувства сам Бунин:

Прости мне, милый друг!.. Те скорбные мгновенья,
Когда в моей душе проснулася любовь,
Когда я счастья ждал и жаждал наслажденья,
Давно уже прошли и не вернуться вновь...

(№ 61)

Эти строки — свидетельство того, что в некоторых случаях Бунину удавалось довольно точно уловить «старинный лад» и передать его характерное звучание без оглядки на какой-либо конкретный образец. Вероятно тогда-то и рождалось то ощу-

БУНИН

Фотография, 1888

На обороте автограф: «Ив. Ал. Бунин.

11 сентября 1888-го года»

Музей И. С. Тургенева, Орел]



Ив. Ал. Бунин
 11 Сентября 1888 года

щение, которое испытывает бунинский Арсеньев, увидев на страницах «знаменитого журнала» свое первое стихотворение: здесь «были и мои стихи, показавшиеся мне в первую минуту даже как будто и не моими — так очаровательно похожи были они на какие-то настоящие, прекрасные стихи какого-то настоящего поэта» (6, 138). Однако чаще можно наблюдать иное: на пути овладения поэтическим языком предшествующей эпохи Бунин постоянно прибегает к прямым заимствованиям из творений своих учителей. В высшей степени характерно в этом плане стихотворение «Над могилой С. Я. Надсона» (1, 455), с которым Бунин впервые выступил в печати. Чтобы в этом убедиться, достаточно вспомнить его первую строфу:

*Угас поэт в расцвете силы,
 Заснул безвременно певец;
 Смерть согревала с него венец
 И унесла под свод могилы.
 В Крыму, где ярки неба своды,
 Он молодые кончил годы,
 И скрылись в урне гробовой
 Его талант могучий, сильный,
 И жар души любвеобильной,
 И сны поэзии святой!..*

Подчеркнутые выражения целиком заимствованы из лирики Пушкина (ср. стихотворение «Для берегов отчизны дальней...»), а также из арсенала поэтики романтизма⁵.

Несамостоятельность своих первых опытов Бунин осознавал уже в пору их создания. «Мне скажут, что я подражаю всем поэтам, которые восхваляют святые чувства», — записывает он в своем дневнике 29 декабря 1885 г. (9, 340). Тридцать лет спустя он повторит почти то же самое, объясняя, почему с такой легкостью заполнялись

стихами страницы его юношеских тетрадей: «Писал я в отрочестве сперва легко, так как подражал то одному, то другому» (9, 259). Однако подражательность, отличающая юношеские стихи Бунина, имеет свои особенности. Стихотворение «Над могилой С. Я. Надсона» открывает целый цикл стихов, в котором эти особенности проявляются очень выразительно. Написанный весной и летом 1887 г., этот цикл по праву может быть назван «надсоновским».

Имя Надсона Бунин постоянно называет среди тех, чье влияние испытал в годы юности: «Увлекался Надсоном», — отвечает он на вопрос, под чьим воздействием начинался его творческий путь; и тут же оговаривает: «но недолго» (9, 526). «Увлечение, хотя и недолгое, Надсоном» отмечал Бунин и ранее (9, 259), а в «Жизни Арсеньева» отношением героя к этому поэту посвящен самостоятельный эпизод (6, 122—123). Эти автобиографические свидетельства заставляют задуматься над тем, какую роль в истории духовного развития Бунина сыграла поэзия Надсона. Ответ на этот вопрос дают стихи из его юношеских тетрадей.

В лице Надсона в поэтический мир Бунина впервые властно вторгается дыхание сегодняшнего дня. Властитель дум современников, двадцатитрехлетний Надсон скончался в Ялте 19 января 1887 г. Ранняя смерть окружила его облик романтическим ореолом: «Какой восторг возбуждало тогда даже в самой глухой провинции это имя! <...> Надсон был „безвременно погибший поэт“, юноша с прекрасным и печальным взором, „угасший среди роз и кипарисов на берегах лазурного южного моря...“» (6, 122). Эта картина, нарисованная в «Жизни Арсеньева», очень точно воспроизводит действительность. Тело Надсона было перевезено в Петербург, молодежь несла его гроб на руках весь путь до Волкова кладбища. Описывая, как глубоко взволновали Арсеньева эти события (6, 122), Бунин, несомненно, вспоминает то, что пережил сам, — романтизированный образ Надсона полностью отвечал его «повышенному душевному строю», воспитанному поэзией романтизма.

Однако к этому присоединялось еще и другое. При том «страстном интересе вообще к писателям», который в юности испытывал Бунин (9, 259), слава Надсона не могла оставить его равнодушным. Стремление узнать, «что такое» Надсон, «чем он, помимо своей поэтической смерти, все-таки приводит в такое восхищение всю Россию» (6, 123), — стремление, которым Бунин наделяет своего героя, было пережито им самим. Процесс этого «узнавания» остался за пределами романа Бунина. На страницах его юношеской лирики он полностью раскрывается.

Анализируя стихотворение «Над могилой С. Я. Надсона», О. Н. Михайлов отметил парадоксальный факт: в этих стихах о Надсоне нет ни единой «надсоновской» интонации. Объясняет он это тем, что Бунина привлекала «демократическая настроенность надсоновских стихов», тогда как «стилистически» Надсон был ему чужд⁶. В справедливости подобного предположения заставляет усомниться другое стихотворение, появившееся в печати вслед за первым:

В венке из свежих роз я Музу увидал
Впервые в детстве над собою;
И долго я ее свирелью проиграл
И забавлял себя волшебною мечтою <...>

(№ 22)

В основе этих стихов лежит пушкинский образ: Муза, напутствующая юного поэта (ср. «В младенчестве моем она меня любила...»). Но решен этот образ целиком в стиле поэтики Надсона. Уже первая строка повторяет типичный штамп надсоновской лирики (правда, штамп в свою очередь заимствованный):

В венке душистых роз, с улыбкой молодой,
Она сошла в наш мир <...>

(«Поэзия») ⁷

Постепенно в этом стихотворении Пушкин вытесняется Надсоном — заключительная строфа уже полностью выдержана в его интонациях:

Вот отчего, мой друг, теперь стихи мои
 Поют не те надежды и желанья,
 Вот отчего меж тенями любви
 Теперь найдешь упреки и страданья.

Итак, о Надсоне — реминисценциями из Пушкина, но рядом — пушкинский образ, решенный средствами поэтики Надсона. Здесь уже трудно говорить о стилистической несовместимости. Больше того, эти стихи — только начало «узнавания» Надсона: Бунин, стремясь проникнуться внутренним настроением надсоновской лирики, на какое-то время полностью усваивает ее стилистические особенности.

Целый ряд стихотворений, написанных весной и в начале лета 1887 г. (№ 33—37), соотносится с совершенно конкретными стихами Надсона, причем именно с теми, которые впервые публиковались в журнале «Русская мысль» уже после его смерти, — в апреле-мае 1887 г., — а затем вошли в посмертное издание сочинений поэта. Бунин пытается войти в поэтический мир Надсона, пережить его чувства, мыслить его образами, говорить его языком. В бунинской тетради появляются стихи «Из записной книжки» (№ 34), повторяющие излюбленный жанр Надсона («Из дневника») ⁸. И мелодика, и общий настрой надсоновской лирики звучат в них очень явно:

Те скорби мне сердце в конец истомили,
 Томила нужда беспросветной тоской,
 В душе молодой все порывы застыли,
 И жаждал я счастья до боли порой!..

При том, что Бунин очень точно воспроизводит стиль лирики Надсона, почти все стихи «надсоновского» цикла резко полемичны. Примеряя «одежду» надсоновского стиха, вступая в мир поэзии Надсона, Бунин остро ощущает его несоответствие собственному душевному настрою. Приведем два примера.

Среди посмертных стихов Надсона внимание Бунина привлекли «Грезы» ⁹:

Когда еще дитя, за школьною стеною
 С наивной дерзостью о славе я мечтал,
 Мне в грезах виделся пестреющий толпою
 Высокий, мраморный, залитый светом зал<...>
 А ночью дан был бал... Сияющие хоры
 Гремели музыкой... Меж мраморных колонн
 Гирлянды зелени сплетались в узоры
 И зыблилась парча девизов и знамен...

Лирический герой Надсона видит себя певцом, покоряющим души слушателей:

И вот, безвестный паж, я властвую толпою,
 Я покорил ее... Я вижу с торжеством,
 Как королева ниц склонилась головою,
 Как жадно рыцари внимают мне кругом<...>
 Так в детстве я мечтал. С тех пор умчались годы,
 И нет их, ярких снов фантазии моей,
 Я стал в ряды бойцов поруганной свободы,
 Я стал певцом труда, познания и скорбей.

Бунин отвечает Надсону стихотворением, построенным в форме антитезы «Грезам», — он противопоставляет им свои собственные мечты:

Не шумный бал, увенчанный цветами,
 Не блеск и мишуру столичной суеты,
 В часы бессонницы весенними ночами
 Мне рисовали грезы и мечты...

Я в душном городе за школьными стенами
 Томился и страдал и жаждал поскорей
 Вернуться в старый сад над тихими лугами,
 Вернуться на простор знакомых мне полей.

(№ 33)

Бунин не принимает «ярких снов фантазии» Надсона, однако столь же неприемлем для него надсоновский идеал поэта-гражданина — «певца труда, познания и скорбей»:

Нет, в невозвратные младенческие годы
 Я жизнью жил иной, мечтал я о другом,—
 Я думал, что среди родимой мне природы
 Я буду мирно жить, идти своим путем.

Не менее полемичны и два других стихотворения, которые стоят рядом на страницах лирической тетради Бунина (№ 34 и 35). Оба они обращены к стихотворению Надсона «Из дневника», также носившему программный характер¹⁰. Надсон начинает с описания:

Сегодня всю ночь голубые зарницы
 Мерцали над жаркою грудью земли;
 И мчались разорванных туч вереницы,
 И мчались, и тяжело сходились вдали.

Бунин начинает, казалось бы, с того же. Однако тревожной картине душевной грозовой ночи он противопоставляет умиротворенную тишину спящей земли:

Ночь тиха: голубые зарницы
 Над заснувшей землею трепещут,
 Бесконечных светил вереницы
 В синем небе задумчиво блещут...

{ (№ 35)

Лирический герой Надсона мечтает о счастье:

Всю ночь пробродил я, всю ночь до рассвета,
 Обвеянный чарами неги и грез;
 И страстно я жаждал родного привета,
 И женских объятий и радостных слез...

И Бунин вторит ему:

За слово привета, за добрые речи,
 Согретые жаром горячей любви,
 За лунные ночи и тайные встречи
 Забуду печали и скорби свои...

(№ 34)

Однако для Надсона его мечты — лишь минутная слабость, которую он тут же преодолевает:

Но знай, что я твердо сознал, что покуда
 Так душны покровы ночной темноты,
 Так много на свете бездельного люда,
 О личном блаженстве постыдны мечты.

Этой гражданской тенденции Бунин противопоставляет иную жизненную и поэтическую позицию:

Что грядущего, друг мой, бояться,
Если юностью искрятся очи,
Надо верить, любить, наслаждаться
В эти теплые, тихие ночи!

(№ 35)

В этих строках слышится та «новизна, свежесть и радость „всех впечатлений бытия“, о которых говорит бунинский Арсеньев (6, 93). Это ощущение настолько безраздельно владело самим Буниным на пороге юности, что не оставляло место сочувствию ни скорбным нотам лирики Надсона, ни гражданским идеалам, которые в ней декларировались. Но главное — прирожденный вкус, непрерывно шлифовавшийся в общении с миром русской классической поэзии, не мог принять банальности надсоновских поэтических штампов. И тем не менее позицию скептика, развенчивающего всероссийского кумира, Бунин занял далеко не сразу, как можно было бы подумать, исходя из оценок, вложенных им в уста Арсеньева (6, 122). Для этого, как свидетельствуют страницы его лирических тетрадей, ему пришлось пройти, пусть краткий, но полный значения путь — от безоговорочного сочувствия трагической судьбе Надсона, через прямое подражание его поэзии, к полному ее неприятию.

Обращение к Надсону — всего лишь краткий эпизод в первой главе творческой биографии Бунина. Летом 1887 г. «надсоновский цикл» обрывается — поэзия Надсона перестает его интересовать.

Мы остановились на этом эпизоде так подробно потому, что в нем, при всей его мимолетности, ярко проявляется характерная особенность бунинского ученичества: Бунин следует избранному образцу не столько для того, чтобы сравняться с ним, сколько для того, чтобы «узнать» творческий мир другого поэта, понять и сопоставить его мироощущение с собственным восприятием мира. В результате подражание, почти всегда неизбежное в пору поисков собственного голоса, для Бунина становится не самоцелью, а средством такого «узнавания».

Если Надсон был для Бунина лишь эпизодом, то два других поэта стали его спутниками навсегда. Их имена Бунин поставил у истоков своей творческой жизни, признаваясь, что в эту пору «подражал <...> больше всего Лермонтову, отчасти Пушкину» (9, 259).

С юных лет и до последних дней жизни эти два имени стояли рядом в его сознании. Стоят они рядом и в «Жизни Арсеньева»: «Что же до моей юности, то вся она прошла с Пушкиным. Никак не отделим был от нее и Лермонтов» (6, 126).

Страницы лирических тетрадей Бунина хранят многочисленные свидетельства того, как созвучна была поэзия Лермонтова его душевному настрою:

О, если бы стихов задумчивое пенье
В твоей душе могло бы пробудить
Раздумье о былом, о прошлом сожаленье,—
Тогда бы ты могла былое воротить! —

пишет он (№ 39), пытаясь уловить музыкальный строй и проникновенный лиризм лермонтовского посвящения к поэме «Демон»:

Я кончил — и в груди невольное сомненье:
Займет ли вновь тебя давно знакомый звук,
Стихов неведомых задумчивое пенье,
Тебя, забывчивый, но незабвенный друг? ¹¹

Та динамичность, напряженность и острота восприятия окружающего мира, то предчувствие «полноты» предстоящей жизни, которое владело Буниным на пороге бытия, находили соответствие в мире поэзии Лермонтова: «... какой страстной мечте о далеком и прекрасном и какому заветному душевному звуку отвечали эти строки, пробуждая, образуя мою душу!» — писал Бунин в «Жизни Арсеньева», вспоминая

стихотворение «Памяти А. И. Одоевского» (6, 126). И совсем уже на склоне лет говорил о лермонтовском «Парусе»: «... как он всегда меня потрясает. Каждый раз иначе. Иногда грустью. Иногда вдохновением. Иногда счастьем до боли. И какой торжественный, какой волшебный конец. Одни из самых изумительных строк во всей русской поэзии:

А он, мятежный, просит бури,
Как будто в бурях есть покой!»¹²

На заре же своего творческого пути Бунин ответил на эти строки своеобразной поэтической репликой:

Светлое небо меж тучек синее,
Тучи бегут по небесной лазури;
Парус над бездной морскою белеет,
Борется гордо с порывами бури.

Но беспросветная ночь наступила,
Солнце и небо во мраке сокрылось;
Ветер бушует и бьется с ветрилом,
Буря ударила — мачта свалилась.

Ночь наступила... Надежда пропала,—
Тонет ладья, наполняясь водою...
Буря затихла, гроза замолчала,—
Парус не виден над бездной морскою.

(№ 30)

Это уже не подражание, а вполне сознательный, хотя и достаточно наивный прием. Бунин как бы продолжает лермонтовский «Парус», он использует его символику, пытаясь выразить свое отношение к Лермонтову и его судьбе. Через четыре десятилетия мысль, которую шестнадцатилетний мальчик пытался облечь в поэтический образ, возродилась на страницах романа Бунина: «Какая жизнь, какая судьба! Всего двадцать семь лет, но каких бесконечно богатых и прекрасных, вплоть до самого последнего дня, до того темного вечера на глухой дороге у подошвы Машука, когда, как из пушки, грянул из огромного старинного пистолета выстрел какого-то Мартынова и „Лермонтов упал как будто подкошенный“» (6, 158).

В «Жизни Арсеньева» неоднократно подчеркивается чувство близости с Лермонтовым, ощущение сходства его «начальных дней» со своими и, больше того, — тайная зависть к самой судьбе Лермонтова, столь «бесконечно богатой и прекрасной» (6, 126 и 157—158). Все это безусловно чувствовал в годы юности и сам Бунин. Однако не только этим объясняются многочисленные реминисценции из лирики Лермонтова в его юношеских стихах (см., например, № 19, 20, 30, 39, 51). Конечно, романтический строй поэзии Лермонтова в высшей степени созвучен самой специфике юношеского сознания, а прирожденное чувство прекрасного позволяло Бунину уже в ту пору ощутить красоту лермонтовского стиха. И тем не менее не в этом следует искать первопричину того влияния, которое имел на него в юности Лермонтов. Впоследствии, в «Жизни Арсеньева», Бунин раскрыл ее в образной форме: «Я подумал: что такое Лермонтов? — и увидел сперва два тома его сочинений, увидел его портрет, странное молодое лицо с неподвижными темными глазами, потом стал видеть стихотворение за стихотворением, и не только внешнюю форму их, но и картины, с ними связанные <...>: снежную вершину Казбека, Дарьяльское ущелье, ту, неведомую мне, светлую долину Грузии, где шумят, „обнявшись, точно две сестры, струи Арагвы и Куры“, облачную ночь и хижину в Тамани, дымную морскую синеву, в которой чуть белеет вдаль парус...» (6, 157—158). Другими словами, поэзия Лермонтова открыла Бунину, сколь неисчерпаемы средства изобразительности, тающиеся в мире словесного творчества, сколь безграничны возможности поэтического выражения явного, чувственного мира. В результате рождаются строки, в которых отчетливо ощущается стремление постичь секрет

АФИША ЗАСЕДАНИЯ
МОСКОВСКОГО ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННОГО КРУЖКА,
ПОСВЯЩЕННОГО СТОЛЕТИЮ
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЛЕРМОНТОВА

16 ноября 1914 г.

Вступительное слово произнес Бунин
Архив А. М. Горького, Москва

Повестки № 32
Сек. 1914-1915 гг.



МОСКОВСКИЙ ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КРУЖОКЪ

Директор Круга извещает, что 16-го ноября 1914 г. состоится
в помещении Круга

ВТОРОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ,

посвященное памяти М. Ю. Лермонтова — по случаю
столетия со дня его рождения.

ПРОГРАММА.

1. Вступительное слово о Лермонтове. И. А. Бунин.
2. Отрывки из повести „Герой нашего времени“ (Князь). Кн. А. И. Сумбатов-Южин.
3. Стихотворение Лермонтова „Морская царевна“ О. В. Глозская.
4. Романс на слова Лермонтова „Полный рыцарь“ Н. А. Швецова.
5. Отрывок из поэмы „Демон“ В. И. Качалов.
6. Романс на слова Лермонтова „Послышались“ М. Л. Турчиннова.
7. Стихотворение Лермонтова „Близость“ В. И. Пашенко.
8. Романс на слова Лермонтова А. Р. Богданович.

Начало ровно в 7 час. дня.

Входы будут приниматься бесплатно в течение Лит.-Худож. Круга
со среды, 12 ноября, ежедневно с 7 ч. вечера до 2 ч. ночи, как
членов, так и их гостей.

образности лермонтовского стиха, достигавшейся такими простыми и, казалось бы, прозаическими средствами:

В полночь выхожу один из дома,
Мерзло по земле шаги стучат,
Звездами осыпан черный сад
И на крышах — белая солома:
Трауры полночные лежат.

(1, 65)

Здесь все как будто свое — образы и краски, метрика, рифмы. И все же легко угадывается, чему не столько подражает, сколько учится Бунин:

Выхожу один я на дорогу.
Сквозь туман кремнистый путь блестит...

Или другой пример:

Какая теплая и темная заря!
Давным-давно закат, чуть тлея, чуть горя,
Померк над сонными весенними полями,
И мягкими на все ложится ночь тенями<...>

Над садом облака нахмурившись стоят;
Весенней сыростью наполнен тихий сад...

(1, 61)

За этими строками также без труда угадывается Лермонтов:

Зеленой сетью трав подернут спящий пруд.
А за прудом село дымится — и встают
Вдали туманы над полями.
В аллею темную вхожу я; сквозь кусты
Глядит вечерний луч, и желтые листья
Шумят под робкими шагами.

Примечательно, что в этом стихотворении («Как часто пестрою толпою окружен...»), послужившем для Бунина образцом, полностью за пределами его внимания остается именно то, что сам он через десять с лишним лет отметит как основной пафос поэзии Лермонтова: «бурный и яркий протест как против несовершенства человеческой жизни вообще, так и против того общественного строя, в котором пришлось жить поэту» (9, 524). Остаются ему чужды и порожденные сознанием тщетности этого протеста ноты усталости, звучащие в стихотворении «Выхожу один я на дорогу...». В обоих случаях Бунин привлекает одно — картина гармонического единения лирического героя с миром окружающей природы и те поэтические средства, которыми достигается ее изображение. Здесь мы подходим к тому, что «родство» его с Лермонтовым имело в ту пору свои, очень четко очерченные границы.

Действительно, очень многое и, быть может, главное в лермонтовской поэзии не находило у Бунина отклика в годы его юности. Скептическое мирозерцание Лермонтова, его рефлексия оставались столь же чужды Бунину, как и гражданский пафос его лирики. Однако Бунин не просто прошел мимо того, что было для него неприемлемо в мире поэзии Лермонтова. Он пытается проникнуться чуждым ему мирозерцанием, взглянуть на мир сквозь призму лермонтовского скептицизма. Так рождается еще одна поэтическая реплика в адрес Лермонтова, написанная почти одновременно с «Парусом», — стихотворение «Ужасные мгновенья» (№ 19).

Скептицизм, составлявший основу мирозерцания Лермонтова, приводил его к сомнению в ценности поэтического видения мира. Отсюда трагическое восприятие творческого вдохновения как источника страдания, как проклятия художника. Таков лейтмотив его лирики, начиная с юношеской «Молитвы» и кончая программным стихотворением «Журналист, читатель и писатель», написанным за год до гибели. Бунин пытается встать на точку зрения Лермонтова, пытается понять, может ли он повторить его «Молитву»:

От страшной жажды песнопенья
Пускай, творец, освобожусь,—

может ли разделить эту готовность отказаться от творческого дара. Бунин хочет понять, что сулят художнику покой и забвение, к которым так страстно стремился на исходе своей короткой жизни Лермонтов. Он вступает с ним в своего рода диалог, начиная, как и в «Парусе», там, где кончает Лермонтов:

Я ищу свободы и покоя!
Я б хотел забыться и заснуть!

Бунин пытается развить эту мысль Лермонтова и нарисовать картину духовного сна, в который повергнется художник, освободившийся от мучившей его «жажды песнопенья»:

Бывают тяжкие мгновенья,
Когда душа как будто спит;
Забыв все бури и волненья,
Она бесчувственно молчит;
В ней нет тогда любви сокрытой,
В ней нету злобы ядовитой,
Она забудет жар страстей

<И> нежный трепет вдохновенья,
 И звук привычный песнопенья
 Уже не раздаётся в ней;
 Ее не мучают страданья,
 Ее не мучает тоска,
 В ней нету гордых пожеланий
 И мысль о славе далека.

Форма, избранная для этого диалога, в значительной степени заимствована у Лермонтова: вся эта часть стихотворения построена как параллель монологу «писателя» («Журналист, читатель и писатель»), в котором рисуется трагическое восприятие собственного поэтического дара художником:

Бывают тягостные ночи:
 Без сна, горят и плачут очи...

Бунин пытается достичь лермонтовской экспрессии стиха: он пользуется типично лермонтовскими словосочетаниями и следует поэтическим приемам, определяющим строй стихотворения Лермонтова (повторы в начале строк, разнообразное сочетание мужских и женских, парных, перекрестных и опоясывающих рифм).

Однако стихотворение Бунина носит явно полемический характер:

Душой смущенной и унылой
 Не слышу Музы я полет,
 И этот сон, как сон могилы,
 Меня и мучит и гнетет.
 И я молю творца с тоскою:
 Пусть лучше мучиться, страдать,
 Пусть буду я болеть душою,
 Но только этим сном не спать!
 Не спать тяжелым сном забвенья...

Здесь лирический герой Бунина противопоставлен лирическому герою лермонтовского «Выхожу один я на дорогу...», а готовность страданием оплатить дар вдохновенья — ответ на «Молитву» Лермонтова.

Естественно, что строки, в которых Бунин пытается противопоставить Лермонтову собственное поэтическое сознание, выходят за пределы воздействия лермонтовской лирики. Но и тут он далек от самостоятельности. Закрывающие «Ужасные мгновенья» строки —

...отдаваясь вдохновеньям,
 Не охладеть душой своей,—

всего лишь реминисценция из знаменитого лирического отступления, завершающего шестую главу «Евгения Онегина»:

А ты, младое вдохновенье,
 Волнуй мое воображенье,
 В мой угол чаще прилетай,
 Дремоту сердца оживляй,
 Не дай остыть душе поэта,
 Ожесточиться, очерстветь...

При всей своей наивной беспомощности эта попытка полемики с Лермонтовым и обращение к Пушкину, ее завершающее, знаменательны для духовного развития Бунина. Они говорят о том, что в его юношеском сознании столкнулись два диаметрально противоположных восприятия мира, открывшихся ему в творчестве двух поэтов, в равной мере ставших для него «подлинной частью <...> жизни» (6, 126). В этом столкно-

вании начинает вырисовываться его собственное мирозерцание, которому гармоническое мироощущение Пушкина оказывается несравненно ближе и созвучнее, чем скептическое, рефлектирующее сознание Лермонтова.

Заслуживает внимания тот факт, что эпизод этот, столь значительный в процессе духовного развития Бунина, не выходит за пределы его юношеских тетрадей, — на страницах «Жизни Арсеньева» места ему не нашлось. Возможно, это объясняется тем, что в годы работы над романом уже сложился новый взгляд на поэзию Лермонтова: трагизм лермонтовского восприятия мира с годами становился ему все более созвучен — свидетельство тому лирика эмигрантских лет и воспоминания современников¹³. Это новое восприятие, все углубляясь с годами, заставило Бунина под конец жизни произвести решающую переоценку и поставить Лермонтова рядом с Пушкиным¹⁴. В этих обстоятельствах «спор», который некогда вели в его сознании Пушкин и Лермонтов, уже не представлялся ему значительным и заслуживающим внимания. На первый план выступало то, что было безоговорочно воспринято у того и у другого, что стало неотъемлемой частью его собственного внутреннего мира.

Если скептическое мировоззрение Лермонтова оказалось неприемлемым для Бунина, то у Пушкина его влекло именно то, чего Лермонтову не доставало, — «удивительная ясность души и стройность мирозерцания» (9, 523—524). Эти свойства пушкинского восприятия мира Бунин сформулировал значительно позже. В те же годы, о которых идет речь, они вряд ли были в полной мере осмыслены им, тем более вряд ли он сознательно воспринимал их как одну из причин своего влечения к Пушкину. Тем не менее юношеская лирика Бунина свидетельствует о том, что именно в этом заключалась для него одна из главных притягательных сил пушкинской поэзии.

«Когда он вошел в меня, когда я узнал и полюбил его? — писал о Пушкине уже на склоне лет Бунин. — Но когда вошла в меня Россия? Когда я узнал и полюбил ее небо, воздух, солнце, родных, близких? Ведь он со мной — и так особенно — с самого начала моей жизни» (9, 456). Эту «особенность» своего сопричастия миру пушкинской поэзии Бунин целиком переносит в «Жизнь Арсеньева»: «Пушкин был для меня в ту пору подлинной частью моей жизни (...) Сколько чувств рождал он во мне! И как часто сопровождал я им свои собственные чувства и все то, среди чего и чем я жил!» (6, 126; ср. 9, 457).

Естественно предположить, что столь сильное воздействие Пушкина должно было найти широкое отражение и в юношеском творчестве Бунина. «Подражал ли я ему? Но кто же из нас не подражал? Конечно, подражал и я, — в самой ранней молодости подражал даже в почерке», — вспоминает Бунин (9, 454). Его юношеские тетради — свидетельство правдивости этого признания: тонкий, мелкий почерк, покрывающий их страницы, довольно близко имитирует легкий, изящный почерк Пушкина, в самих же стихах можно встретить ряд подражаний пушкинской лирике. Однако число их сравнительно невелико (№ 4, 6, 18, 19, 22, 28, 31, 51). И если обращение Бунина к Лермонтову имело, как можно было убедиться, весьма разнообразные формы, то обращение к Пушкину в его ранней лирике носило несколько иной характер. Оно шло, помимо уже отмеченных выше попыток усвоить чисто внешние формы пушкинского стиха — его размеры, строфику, рифмы, его лексику (см. № 51, а также № 4, 6), — в одном, но сразу же четко определившемся направлении: воздействие поэзии Пушкина сказывается в стремлении создать нечто «по-пушкински (...) прекрасное, свободное, стройное» (9, 455). Впервые высказанное в форме полемики с Лермонтовым («Ужасные мгновения»), это стремление затем уже не покидало Бунина в течение всей его жизни. Оно, вспоминает Бунин, возникало «от чувства родства» с Пушкиным, «от тех светлых (пушкинских каких-то) настроений, что бог порою давал в жизни» (9, 455).

Чаще всего, а в юности особенно, «пушкинские» настроения дарил Бунину мир природы — точнее, обостренное восприятие красоты этого мира и чувство собственного сопричастия ему, то есть именно то, что получило столь полное выражение и в бунинских лирических тетрадях, и на страницах «Жизни Арсеньева». Естественно, что самые первые попытки выразить эти настроения носят характер непосредственных подражаний. И примечательно, что, подражая Пушкину, Бунин не раз обращается к одно-

ТЕТРАДЬ СТИХОВ БУНИНА
 («СОЧИНЕНИЯ СТИХОТВОРНЫЕ.
 КНИГА 5-ая»)

Обложка. Автограф, 1887

Сбоку поздняя запись Бунина:

«Это обложка одной из тех тетрадей, что я шивал собственноручно для своих „сочинений“. В почерке — подражал Пушкину»

Музей П. С. Тургенева, Орел

«Я обложки и титулы шил из старых тетрадей, что я считал собственноручными для своих „сочинений“. Я позврил-подражал Пушкину».

И. В. Бунин

Сочинения стихотворные

Книга 5-ая

Список к Бунину

В Петербург 15.10.1887

И. В. Бунин

Гр. В. В. Бунин

И. В. Бунин

му и тому же источнику: его постоянно влечет то стихотворение, в котором гармоничность пушкинского мирозерцания нашла свое высшее поэтическое выражение, — «На холмах Грузии лежит ночная мгла...». В юношеских тетрадях Бунина не раз появляются строки, где в той или иной форме слышится отзвук этих стихов:

На воды сонные туман неясный лег;
 Вечерняя звезда на запад выплывает...
 Над прудом я сижу... Ни дум и ни тревог...
 Душа моя светла и сладко отдыхает...

(№ 31)

И почти рядом еще одна попытка передать состояние внутренней гармонии, рожденной чувством единения с окружающим миром. Но здесь уже прямая цитата:

И «сердце вновь горит и любит оттого,
 Что не любить обо не может...»

(№ 28)

Однако такого рода откровенные, весьма наивные подражания очень скоро исчезают со страниц юношеской лирики Бунина — лето 1887 г. было в этом отношении рубежом.

Вероятно, именно тогда детское восторженное поклонение стало уступать место глубокому пониманию самой сущности пушкинского гения, — тому, что впоследствии Бунин назвал «настоящей любовью к Пушкину» (9, 259). Конечно, это понимание сложилось далеко не сразу и с годами непрерывно углублялось и видоизменялось. Но, по-видимому, одно из первых открытий, сделанных Буниным на пути подлинного постижения мира пушкинской поэзии, было сознание, что стройность мирозерцания Пушкина так же недоступна для подражания, как и гениальная простота его поэзии.

Вместе с тем Бунину открылось и другое — безграничная многогранность поэтического мира Пушкина:

Как истый гений понимал
Он назначение поэта:
Как звонкий отзыв, отвечал
На все, что требует ответа.

(№ 18)

В этих строках слышится отзвук размышлений о самой природе и назначении поэтического творчества. На эти размышления Бунина натолкнули мысли о Пушкине. Во всяком случае, идеал художника, каким он нарисован в статье «Недостатки современной поэзии», написанной в 1888 г., целиком строится на опыте творчества Пушкина. «Поэт должен быть отзывчив на всякое движение души, на всякое проявление нравственного и умственного мира, он должен жить одной душой с людьми и с природой», — пишет Бунин и подтверждает свою мысль, цитируя пушкинское «Эхо». «Поэт должен проникаться всеми радостями и печалью людскими, быть искренним выразителем нужд и потребностей общества, направить ближних к добру и прекрасному», — продолжает он и вновь опирается на Пушкина, цитируя заключительные строки «Пророка»:

Встань, пророк, и виждь и внемли:
Исполнишь волею моей
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей.

(9, 489)

Вся последующая деятельность Бунина свидетельствует о том, что тезис «жить одной душой с людьми и с природой» — вполне выражает поэтический принцип, которому он всю жизнь следовал неизменно.

«Настоящая любовь к Пушкину», пришедшая в результате всех этих размышлений, проявилась в том, что обращение к пушкинской лирике в поэтической практике Бунина приобрело принципиально новый характер: осознав бесплодность подражания поэзии Пушкина, Бунин находит в ней свой идеал, и к нему отныне он будет непрерывно стремиться. На смену детским попыткам подражать Пушкину приходит стремление найти собственные средства для достижения «пушкинской» ясности, стройности и простоты:

Бледнеет ночь... Туманов плена
В лощинах и лугах становится белее,
Звучнее лес, безжизненней луна
И серебро росы на стеклах холоднее...
.....
Уж близок день, прошел короткий сон —
И, в доме тишины не нарушая,
Неслышно выхожу из двери на балкон
И тихо светлого восхода ожидаю...

(1, 61—62)

Инструментовка и образные средства в этом стихотворении, написанном в 1888 г. (особенно в первой его строфе), показывают, что уже в эти ранние годы Бунину удается наметить свой путь для выражения того пушкинского начала, которое неизменно связывалось в его сознании с чувством собственного единения с миром природы (9, 455—458). Сделать этот шаг помогло Бунину знакомство с достижениями его старших современников — поэтов следующего за Пушкиным поколения.

Среди лириков, продолживших и развивших пушкинскую традицию, внимание Бунина особенно привлекал Полонский. «Что за милый и дорогой Полонский!» — писал он в 1891 г.¹⁵ Легкий оттенок снисходительности, звучащий в этих словах, не мешал Бунину с благодарностью вспоминать поэта, который «пленил» его «в ранней юности» (9, 344) и которому он некогда с увлечением подражал (см. № 11, 60, 76, 77).

Стихотворение «Весенней ночью», написанное «на мотив Полонского» (№ 11), позволяет уяснить, чему учился на этих подражаниях Бунин. Достаточно сопоставить его со стихами старшего поэта, чтобы понять — Бунин стремился уловить своеобразие ритма, особый музыкальный строй стиха, оригинальность его инструментовки, — словом, те поэтические средства, которыми пользуется Полонский, воссоздавая призрачность, зыбкость и таинственность очарования лунной ночи:

Полонский

Посмотри, какая мгла
В глубине полей легла!
Под ее прозрачной дымкой
В сонном сумраке раки
Тускло озеро блестит.
Бледный месяц невидимкой,
В тесном сонме сизых туч,
Без приюта в небе ходит
И, сквозя, на все наводит
Фосфорический свой луч.

Бунин

Нет! Не спится. Свет луны
Разгоняет всегда сны,
На полу скользя лучами,
Заглянув сквозь сень берез,
Пробуждает он ночами
Поэтические грезы.
Сон бежит! Мне спать не в мочь
В светло-радостную ночь!

Тот же характер носит обращение к Фету. Импрессионистическая образность, музыкальная гибкость стиха и метафоричность, пришедшие в русскую поэзию с лирикой Фета, были очень рано усвоены Буниным:

В белых полосах тумана
Ходят белые виденья...
Это призраки ночные,
Это сон воображенья...

Теплой влагой ароматной
Дышит дальний луг поемный;
По наклону косогора
Дремлет лес под шапкой темной;

Он молчит. Но лишь дыханье
Затаишь — и сердце слышит,
Будто кто-то меж деревьев
Тихо шепчет, тихо дышит...

(№ 32)

Фет и Полонский не случайно стоят рядом в «Жизни Арсеньева», где их стихи служат доказательством того, «что нет никакой отдельной от нас природы, что каждое малейшее движение воздуха есть движение нашей собственной жизни» (6, 214) ¹⁸. В юности самого Бунина они также стояли рядом: попытка овладеть найденными ими средствами воссоздания единства внутреннего мира человеческих чувств с миром окружающей природы сыграла свою роль в становлении творческой личности Бунина.

Шло время — пора ученичества и подражаний подходила к концу, все сильнее ощущалась «потребность высказать уже кое-что свое» (9, 259). Появляется стремление подвести итог пережитому, выразить свой взгляд на будущее.

Так рождается написанная в 1890 г. поэтическая декларация, которую впоследствии Бунин включил в сборник «Листопад», куда вошло все, что он считал значительным из написанного им в юности:

От праздности и лжи, от суетных забав
Я одинок бежал в края мои родные,
Я странником вступил под сень моих дубрав,
Под их навесы вековые,

И, зноем истомлен, я на пути стою
 И пью лесных ветров живительную влагу...
 О, возврати, мой край, мне молодость мою,
 И юных блеск очей, и юную отвагу!

Ты видишь, я красы твоей не позабыл
 И, сердцем чист, твой мир благословляю...
 Обетованному отеческому краю
 Я приношу остаток гордых сил.

(1,75—76)

«Подражание Пушкину» — так назвал Бунин свое стихотворение. Это заглавие имеет глубокий и многозначный смысл. На первый взгляд оно подчеркивает, что стихи стилизованы в духе пушкинской поэзии. Однако смысл «Подражания Пушкину» не в стилизации, хотя она и выполнена с замечательным мастерством, а в том, что на пороге своего двадцатилетия Бунин подводит такой же итог прошлому и так же всматривается в будущее, как делал это Пушкин каждый раз, когда жизнь его оказывалась на переломе. За строками бунинского «Подражания» звучат и пушкинская элегия «По гасло дневное светило...» (1820), и «Воспоминания в Царском Селе» (1829). И, наконец, еще одно значение этого названия: вольно или невольно, но в нем выразилось чувство гордости художника, осуществившего свою творческую мечту, — Бунин действительно создал стихотворение по-пушкински «прекрасное, свободное, стройное».

В строках, завершающих бунинское «Подражание», при всей их романтической приподнятости, намечается тенденция, которая многое определила в дальнейшей деятельности Бунина. Впервые он сформулировал ее в 1888 г.: «Человек, живя в гражданском обществе, не может игнорировать интересов последнего, он связан с ним душой и телом» (9, 491). Поэт, еще недавно целиком погруженный в «жизнь сердца», начинает чувствовать свою связь с нравственными и социальными проблемами современности. Знакомство с духовным наследием прошлого сыграло здесь свою роль, послужив материалом для размышлений о природе и целях художественного творчества. Искусство становится в глазах Бунина не только средством выражения собственных эмоций — оно прежде всего «могущественный двигатель цивилизации и нравственного совершенствования людей» (9, 490). Понятие гражданственности в искусстве отождествляется в его представлении со служением гуманистическим идеалам:

Нет, друг мой, не верьте сомненьям своим,
 Пускай они вас не тревожат;
 Бесцельной забавою, делом пустым
 Искусство нигде быть не может.

.....
 И если сумеете вы заронить
 В толпу хотя искорку счастья,—
 Никто вас не смеет тогда упрекнуть,
 Что нету в вас к ближним участия...

(№ 70)

Происходит переоценка ценностей. Лирика Фета, у которого Бунин еще так недавно учился поэтическому мастерству, теперь подвергается самой резкой оценке с позиций требований к искусству, сформировавшихся в его сознании. В статье, написанной в 1891 г. по поводу выступлений критики, превозносившей Фета как единственного представителя «истинной поэзии», Бунин напоминает: «Сам Пушкин завещал поэту „глаголом жечь сердца людей“, — и продолжает далее: «можно ли „жесть сердца людей“ фетовскими стихотворениями?» Вместо ответа он цитирует стихи Фета, сопровождая их ироническими замечаниями. Критике Фета здесь сопутствует сочувственная оценка лирики Некрасова. «Поэзия везде, где есть жизнь», — утверж-

дает Бунин и с этой точки зрения защищает творческий принцип этого «представителя нового духа поэзии, поэта, затронувшего общественные мотивы»¹⁷.

В данной статье Бунин впервые заговорил о Некрасове. Однако в его поэтическом сознании Некрасов присутствовал уже давно. Сначала как художник, поражавший «ослепительным великолепием» картин русской природы, как поэт-новатор, создавший «свои ритмы, свои созвучия»¹⁸, которые Бунин спешил усвоить: одно из самых ранних его стихотворений написано дактилическими двустопиями, заимствованными из некрасовской «Саши» (№ 9). Затем как поэт, творчество которого открывало новые горизонты искусства, отвечавшие гуманистическим устремлениям Бунина. И Бунин вступает на этот путь, разрабатывая подсказанную Некрасовым тему, а с ней и форму:

В душевной избе под напевы метели
В сумраке слышится скрип колыбели;
Двигается дымное пламя лучины,
Странно сереют в углах паутины,
Тени шагают за ним по избе...
Ветер поет монотонно в трубе...

(№ 55)

Теперь Бунин внимательно вглядывается в творчество писателей-демократов, явившихся «воплощением общественной совести» своей эпохи¹⁹. И когда газеты принесли известие о смерти Салтыкова-Щедрина, он отзывается на эту весть горестными строками:

...И пускай нередко упрекали
За твоё глумленье над тодпой —
Верь, что нет без злобы и печали
И любви, глубокой и святой...

Оттого та тяжкая утрата
Вдвое всем покажется больней,
Всем, кому и дороги и святы
Интересы родины своей.

(№ 69)

Последние наивно-неуклюжие строки выражают ту же позицию, которую в отточенной, хотя и романтически-декларативной форме Бунин выскажет два года спустя в своем «Подражании Пушкину»:

Обетованному отеческому краю
Я приношу остаток гордых сил.

А от этих строк — прямой путь к программному стихотворению «Родине», где в отзвуках гражданской лирики Некрасова (ср.: «Не может сын глядеть спокойно...») угадывается позиция будущего автора «Деревни»:

Они глумятся над тобою,
Они, о родина, корят
Тебя твоею простотою,
Убогим видом черных хат...
Так сын, спокойный и нахальный,
Стыдится матери своей —
Усталой, робкой и печальной
Средь городских его друзей...

(1,78)

Изложенные наблюдения отнюдь не исчерпывают вопроса о том, как преломлялся в творческом сознании Бунина опыт его предшественников. Каждый из них открывал ему еще неведомую грань восприятия мира и поэтического воссоздания его. Каждый из них сыграл свою роль в процессе «воспитания чувств» начинающего писателя, ставясь на какой-то срок — более или менее долгий — частью его духовного мира, как бы вторым его «я». Подражая тому или иному поэту, Бунин пытался усвоить не столько чужую форму, сколько самое существо видения мира, выражению которого эти формы служат. Он неизменно соотносит чужое мироощущение с собственным восприятием жизни, принимая то, что ему созвучно, отбрасывая чуждое себе. И почти всегда поэт, к которому он обращается, — для него не просто очередной объект подражания (хотя и это каждый раз имеет место), а живая, конкретная личность, — с ним Бунин соглашается или спорит, поэтические достижения его принимает или отвергает. И каждый раз, на основе соприкосновения с внутренним миром своего «собеседника», он делает пусть небольшой, но вполне осознанный шаг вперед на пути, приведшем его от детски-беспомощного подражания кольцовскому «Хуторку» (№ 2) к стихам, где в отдаленных отзвуках чьих-то влияний уже отчетливо слышится собственный голос поэта.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Вспоминая этот эпизод, Бунин не назвал себя. — См. Собр. соч. 1965—1967, т. 9, стр. 224. Далее при ссылках на это издание в тексте статьи указываются только том и страница.

² Наиболее интересные в плане творческого развития Бунина юношеские стихи публикуются в настоящ. томе (кн. 1, стр. 232—286).

³ См. настоящ. том, кн. 1, стр. 232 — «Из ранних стихов», № 1—2. Далее при ссылках на стихотворения, публикуемые в настоящем томе, в тексте статьи указываются только порядковые номера их в этой публикации.

⁴ Ср., например: К. Н. Б а т ю ш к о в. Опыты в стихах и прозе. Часть вторая. Сочинения стихотворные. СПб., 1817.

⁵ Впервые на это обратил внимание О. Н. Михайлов. — См. его книгу «И. А. Бунин. Очерк творчества». М., 1967, стр. 17—18.

⁶ Там же, стр. 17.

⁷ С. Я. Н а д с о н. Полн. собр. стихотворений. М. — Л., 1962, стр. 110.

⁸ Там же, стр. 174. Некоторые другие стихотворения Надсона также имеют название «Из дневника» (см., например, там же — стр. 164, 224).

⁹ Там же, стр. 188—192.

¹⁰ Там же, стр. 174, 402.

¹¹ «Посвящение» к поэме «Демон», переписанное Буниным в 1885—1886 гг. (судя по почерку), сохранилось в его архиве (ГМТ, № 954).

¹² Ирина О д о е в ц е в а. На берегах Сены, т. 1. Париж, 1971.

¹³ Настоящ. кн., стр. 357; «Новый мир», 1969, № 3, стр. 215.

¹⁴ «Материалы», стр. 288.

¹⁵ «Литературный Смоленск», стр. 115.

¹⁶ Интересные наблюдения над воздействием Фета на лирику Бунина высказаны в статье Н. И. Рыленкова «Вторая жизнь поэта» («День поэзии», М., 1966, стр. 302—303).

¹⁷ Настоящ. том, кн. 1, стр. 298—299.

¹⁸ Там же, стр. 359.

¹⁹ Там же, стр. 288.